

Едет по фронтовым дорогам «виллис», но читатель не понимает, ни куда, ни когда, ни кого этот «виллис» везет. И только на четвертой странице романа, когда мы узнаем, о чем думает водитель этого «виллиса», становится понятно, что едет он в Москву, и фамилия водителя Сиротин, и везет он по вызову из Ставки Верховного главнокомандования генерала Фотия Ивановича Кобрисова, бывшего командующего армией.

Никаких предварительных объяснений, никаких указаний на время и место действия. И тут же погружаемся мы в мысли и соображения шофера, пытающегося представить себе, что же такое эта «Ставка», куда он везет своего генерала. «В самом этом слове (...) слышались ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознесшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем...». И еще думает Сиротин, что Ставка должна располагаться на восьмом этаже: «...надо же как минимум пол-Москвы наблюдать из окон».

И в этот мир сказочных солдатских представлений о самом высоком начальстве вмешиваются со своими отвлекающими замечаниями автор: «И Сиротин был бы жестоко разочарован, узнай он, что Ставка себя укрывала глубоко под землей, на станции метро «Кировская», и ее кабинеты разделены лишь фанерными перегородками, а в вагонах поезда разместились буфеты и раздевалки. Это было бы совершенно несолидно, это бы выходило поглубже гитлеровского бункера, наша советская Ставка так располагаться не должна была, поскольку германская как раз и выставлялась за этот «бункер». Да и не внушал бы тот бункер такого трепета, с каким уходили в подъезд на полусогнутых ватных ногах генералы».

Неправда ли, нам этот стиль знаком? И эти солдатские полусказочные мечты о московских теремах, и ироническая ремарка автора, восстанавливающая реальное положение Ставки, и самый прием перехода от мечты к иронии, свобода этого перехода, — да ведь это Лев Толстой, то проникновение в суть вещей и в сознание им воссозданных людей, какое открыл он для мировой литературы сто тридцать лет тому назад! И с тех пор все русские литераторы, которые писали о войне, не могли обойтись без созданного Толстым инструментария, как не могут физики отказаться от открытий Ньютона.

Толстовское направление в литературе XX века представлено разработками разной степени удачи. Напомню о Фадееве, Гроссмане, между которыми общего только стремление усвоить толстовское искусство человековедения, а не то, чего каждый из них реально добился. Повторяемость таких обращений показывает, что как Гомерова «Илиада» в течение многих веков служила общепризнанным образцом поэтического изображения великих войн, так и

Георгий Владимов. Генерал и его армия. — «Знамя», 1994, №4—5.

Илья Серман

Историческое полотно

О романе Георгия Владимова «Генерал и его армия»

«Война и мир» (которую сам Толстой без ложной скромности сравнивал с «Илиадой») возвышается на пути каждого романиста XX века, который решается изображать войну.

Георгий Владимов это отлично понимает, он не только не скрывает своей верности Толстому, но очень настойчиво демонстрирует ее перед читателями. Прославленный немецкий генерал Гудериан, как известно, стоявший со своим штабом в Ясной Поляне, по ходу действия романа показан в кабинете Толстого за чтением «Войны и мира». Андрея Болконского вспоминает себе в утешение советский адъютант. И когда герой романа пляшет от радости на Поклонной горе, мы, читатели, вспоминаем, как пляшет у дядюшки Наташа Ростова. Знакомая литературная интонация.

Здесь нужна справка не историко-литературного, а мемуарного содержания. Как современник событий, изображенных Владимовым, могу свидетельствовать: в 1941—1942 гг. все или перечитывали, или вспоминали «Войну и мир» и из этой книги, а не из сводок Информбюро черпали веру в конечную победу.

И потому исторически и психологически Владимов бесконечно прав, когда так смело берет у Толстого то, что ему нужно для воплощения собственного замысла. Именно — только то, что ему нужно.

Роман Владимова — не хроника военных лет, а вещь совершенно иного временного охвата. В сущности, все тут располагается вокруг одного главного события: генерал Кобрисов отозван с фронта в Ставку и едет в Москву в сопровождении адъютанта и ординарца. Происходит это, как явствует из обстановки, глубокой осенью 1943 года.

В числе нескольких вставных эпизодов идут воспоминания генеральского ординарца Шестерикова (тоже не случайная фамилия) об осени за два года перед тем: пошли они с генералом пешком к командиру соседней дивизии, который обещал угостить французским коньяком... Наткнулись на немцев. Генерала тяжело ранило — и Шестериков спас ему жизнь, и в Москву его (лично!) доставил, и вылечить помог... Если мерить формально, то действие романа занимает один день! Кончается он тем, что на Поклонной горе их застигает (гремя по громкоговорителю) приказ Верховного главнокомандования: армия генерала Кобрисова перешла в наступление, а самому Кобрисову присвоено звание генерал-полковника. И тут Кобрисов решает вернуться к армии, не заезжая в Ставку.

Кроме эпизодов, возникающих в памяти членов генеральской свиты,

Владимов вводит и эпизоды, соседствующие хронологически, не имеющие прямого отношения к судьбе генерала Кобрисова, как, например, эпизод с Гудерианом, подписывающим приказ об отступлении из-под Тулы.

Свобода перетасовывания эпизодов — свойство литературы XX века, как и замыкающий вещь «открытый конец» — решение Кобрисова вернуться на фронт, не заезжая в Ставку.

И еще одно. В романе Владимова нет «мира» — того «мира», который так любят читатели и особенно читательницы Толстого. Этот роман — целиком о войне. Неужели Россия не изменилась с того времени, как Толстой писал свою «Илиаду»? Можно ли в конце двадцатого века пользоваться техникой середины девятнадцатого? Писать пером в эпоху компьютеров?

Оказывается — можно. Если писать роман не для критика, а для читателя.

От рассуждений того типа, скажем, который Толстой предпослал своей повести «Два гусара» — о сравнении настоящего с прошлым, — Владимов воздерживается. Можно было бы и самому порассуждать о сталинской эпохе — но Владимов передает оценку поведения Сталина в начале войны все тому же Гудериану, читателю «Войны и мира». Гудериан мысленно осуждает Гитлера и все немецкое руководство за нежелание понять, какова Россия, которая им противостоит:

«Рукую меч держали другие, и они не расслышали слов кремлевского тирана, сказанных на одиннадцатый день тому самому народу, над которым он власть наиздевался. А ведь, очухавшись, этот азиат сказал самое простое, гениальное, безотказное: «Братья и сестры!»

После речи Сталина на ноябрьском параде 1941 года в Москве, думая Гудериан, немцам «противостояла уже не Совдепия, с ее усилением и усилением классовый борьбы, противостояла Россия».

«Не Совдепия, а Россия». Эта формула допускает различные толкования. По Гудериану, обращение «Братья и сестры!» было как бы предложением союза с народом, обращением за помощью к этому народу, для спасения страны и нации.

По убеждению Владимова, эта просьба (именно просьба, не приказ) была услышана. И этим он объясняет силу сопротивления Красной армии и ее победу над немцами.

Но самую оппозицию «Совдепия — Россия» Владимов понимает не отвлеченно от людей и сил, действующих в этой войне. Он прослеживает эту оппозицию, эту борьбу двух начал в сознании каждого из персонажей своего романа, в каждой ситуации, в каждом эпизоде.

«Совдепия» олицетворена двумя прямыми ее функционерами — смершевцем майором Светлооквым (и тут снова фамилия выбрана не случайно) и старшим лейтенантом Опрядкиным.

Светлоокков плетет сеть доносчиков вокруг командующего армией Кобрисова, а Опрядкин ведет допрос Кобрисова летом 1941 года, когда генерал был обвинен: 1) в подготовке покушения на Сталина во время Первомайского парада и 2) в близости к Блюхеру.

Светлоокков, как это точно показано у Владимова, легко вербует в свою систему и шофера Сиротина, и адъютанта Донского. К каждому он умело подбирает «ключ», без труда разбираясь в их психологии: Сиротина — запугивая, Донского соблазняя карьерными возможностями. Но в разговоре с Шестериковым он наталкивается на упорное сопротивление.

«Шестериков (...) спросил с большим интересом:

— А что это — «Смерш»?
— Не знаешь? — удивился майор.
— Первый раз слышишь?
— Слышать-то слышал, а не знаю.
— Ну, «Смерть шпионам», если тебе интересно.

— Как же не интересно? Ведь она же мне первому полагается, смерть-то. Ежели я при генерале шпионом буду.

— Что значит «шпионом»? — раздразнился майор, начиная уже краснеть. — То категория вражеская. А мы о проявлении заботы говорим. Как ты ее понимаешь — настоящую заботу, а не формальную?

— А так и понимаю, товарищ майор: ночей не посплю, но ни одна гнида к Фотий Ивановичу не подползет. — Правильно, — сказал майор Светлоокков.

Он улыбался широко, всем порозовевшим лицом, но глаза не подчинялись ему, выдавали злость и растерянность».

Не найдя прямого подхода к Шестерикову, Светлоокков наносит, как ему кажется, неотразимый удар — по самым мучительным воспоминаниям солдата, вчерашнего крестьянина:

«И продотрядами твой Фотий Иванович командовал, и раскулачивал в двадцать девятом, и бунты замирал, и целые села переселял в места отдаленные (...). Где-то он поблизости от ваших мест шуровал. И такой был служака — родного брата не пожалел бы».

По пути в Москву, куда он сопровождает своего генерала, Шестериков хочет пересказать ему свой разговор со Светлоокковым — и не может, не в силах. Не может потому, что тогда пришлось бы выкладывать все до конца, а он не мог бы видеть лицо генерала, когда бы сообщил ему все, что узнал о его подвигах. Удалось ли Светлооккову внушить Шестерикову, что он, Шестериков, — жертва, а его любимый генерал — палач? Ну, не палач — просто жестокий подручный?

Светлоокков то знает, что генерал — жертва сталинских чисток и был освобожден только по счастливому для него совпадению событий. Кобрисов вспоминает «унижение, которое не уляжется в беспощадной памяти до конца его дней, где в один час был он ссажен с коня и распотан в прах, где лубянский следователь старший лейтенант Опрядкин ставил его на колени в угол и шлепал по рукам линейкой, — вот и вся пытка. Но может быть, не так глупче, не так раздирающее вспомнилось бы, если б дюжие надзиратели втроем избивали в кровавое мясо и зажимали пальцы дверью...»

Спасла Кобрисова война, которой он понадобился как военачальник. И тот же Опрядкин вернул «отглаженную гимнастерку с уже пришитыми петлицами, вернул ремень с тяжелой кобурой и сообщил, что доверяют дивизию...».

В конце концов генерал не стал жертвой — но ведь был ею? И Шестериков ведь тоже остался в живых, несмотря на все, что случилось в его местах?

Оба они жертвы своего времени, сталинской тирании, лишь случайно избежавшие смертного конца.

Наступающие немецкие солдаты и генералы становятся свидетелями чудовищных последствий работы сталинской машины преступлений. Гудериану докладывают, что в тюремном подвале русского города, где стоит его армия, найдены сотни трупов. Это узники, расстрелянные своими тюремщиками за день или два до падения города. «За что?» — этот вопрос, конкретный для любого мясника из гестапо, звучит безнадежной абстракцией. «Ни один из казненных не имел смертного приговора».

Но горожане, которым все это показывают, смотрят со страхом и ненавистью... на немцев. И православный священник объясняет Гудериану: «Это наша боль, наши раны...» Сходный ответ Гудериан получает от старого царского генерала, которого он безуспешно уговаривал стать бургомистром (разговаривать они могли без переводчика):

— Вы пришли слишком поздно. Если бы двадцать лет назад — как бы мы вас встретили! Но теперь мы только-только начали оживать, а вы



Георгий Владимов.

пришли и отбросили нас назад, на те же двадцать лет. Когда вы уйдете, мы должны будем все начать сначала. Не обессудьте, генерал, но теперь мы боремся за Россию, и в этом мы все едины».

А ведь он «все двадцать лет трясся от страха, что его генеральство откроется». Борьба в сознании персонажей Владимова между «Россией» и «Совдепией» — это борьба многовековой национальной традиции с идеологией большевизма, насильственно внедрявшейся в течение четверти века.

В этом, пожалуй, самое главное отличие романа Владимова от его великого образца. Персонажам Толстого надо было преодолевать естественный эгоизм личности, чтобы сознательно принести себя в жертву обществу. Персонажи Толстого выросли под воздействием мощной многовековой традиции национально-религиозного сознания.

Владимов, как и Толстой, знает, что человека к войне готовит мир, т.е. та история, которая заполнила четверть века перед 22 июня 1941 года.

И когда смершовец Светлоокков, недовольный упорством Шестерикова, не желающего доносить на своего генерала, говорит ему: «Теперь, конечно, общее вас сплотило», — то для него это значит, что Шестериков держится за свое место генеральского ординарца.

Владимов тоже видит это «общее» — и вот как оно ему представляется в итоге его размышлений над русской историей двадцатого века.

Армия, которой пришлось отражать натиск вермахта, уже не та армия, что воевала с Германией в 1-ю Мировую войну. Тогда она была верным сколком структуры российской империи, по которой в последние годы появилось так много плакательщиков. В ней сохранялось резкое деление на офицерский корпус — в основном дворянский — и на солдатскую массу, в основном крестьянскую. Да и пополнялась армия солдатами, пережившими революцию 1905—1907 годов, так и не решившую «вопроса о земле».

В новой армии, особенно после сталинских чисток 1936—1938 гг., исчезли малейшие следы былого сословного противостояния. От маршала до рядовой армия была однородна и говорила на одном общем языке.

Дойдя до понимания этой социальной перестройки, историк или социолог мог бы остановиться. Ему было бы этого достаточно для дальнейших выводов, какими бы они ни были.

Владимов — романист, а не историк. Ему нужно человеческое, а не обобщенное историко-социологическое объяснение поступков его героев.

Ключевая сцена в этом смысле разыгрывается все на той же Поклонной горе. Захмелевший генерал вдруг понимает, что и его ординарца, преданного ему всем существом Шестерикова, тоже вызывал Светлоокков. На беседу. А тот ничего ему об этом не сказал. И хочется генералу выразить Шестерикову свою обиду — но он вспоминает, «как этот же самый человек, попавший в сети матерого «смершевца», да неизвестно еще, насколько в них запутавшийся, и неизвестно, что и как отвечавший при тех беседах, этот же человек в сорок первом, не так далеко отсюда, у славы Перемырки, тогда еще незнакомый,